

историков, археологов и этнографов об уровне развития культуры в соответствующую историческую эпоху. При этом игнорируется тот факт, что эти представления также могут развиваться и в определенной степени зависят от результатов лингвистических исследований. Кроме того, возможности семантической реконструкции весьма ограничены, поскольку семантические изменения, в отличие от фонологических, вообще говоря, нерегулярны. Приведем один достаточно красноречивый пример из другой кавказской семьи — картвельской. Пракартвельская основа \*čeg- имеет регулярные рефлексы с одним и тем же значением ‘писать’ во всех картвельских языках. Разумеется, в историческую эпоху, предположительно соответствующую пракартвельскому языку (рубеж IV—III тысячелетий до н. э.), не могло быть и речи о письменности. Надо признать, что техника лингвистической реконструкции не обеспечивает нас в такого рода случаях никакой процедурой установления праязыковой семантики. Поэтому остаются лишь два пути: либо реконструировать значение наугад, надеясь на случайное «попадание» — ‘рисовать’? ‘оставлять знаки’? ‘изображать’, ‘царапать’? (именно таково решение в словаре Г. А. Климова [28, с. 249]), ‘красить’? ‘мазать’?... и т. д. до бесконечности, — либо отказаться от семантической реконструкции, сохранив при реконструированной форме значение, выступающее во всех современных языках. Авторы словаря избрали второе решение. Так, например, для ПВК слова (41) \*mħōχV/χōmH, имеющего во всех языках-потомках значение ‘железо’ или ‘объект из железа’ (ав. taχ: «железо», ахв. miχi-χ:i «мотыга», дарг. meh «железо» и, подобно вышеупомянутому картвельскому примеру, безупречно укладывающегося в фонетические соответствия, дается реконструкция с семантикой ‘железо’ [1, с. 815], хотя носителям правосточнокавказского языка железо не могло быть известно (в действительности это мог быть какой-то артефакт, который стали впоследствии изготавливать именно из железа).

Из сказанного можно было бы сделать вывод, что семантика является слабым местом словаря. На наш взгляд, он является справедливым лишь отчасти. Дело в том, что соответствия, установленные авторами в области фонетики, настолько убедительны, что позволяют сближать основы с достаточно расходящейся семантикой (на что у предшествующих исследователей не хватало смелости: из-за неразработанности сравнительной фонетики приходилось опираться почти только на сближения с идентичной семантикой). Думается, впрочем, что многие из этих сближений ждут своего объяснения с исторической и этнографической точек зрения. Сошлемся на один пример: (42) лезг. Kül «муж» сближается с названиями молодого животного в других языках лезгинской группы: рут. miχił, цах. miχiwa, крыз. laħ, буд. leħ, арч. Xili. На наш взгляд, подобное соотношение не обязательно представляет собой метафорический перенос, но, по-видимому, связано с каким-либо ныне утраченным ритуалом (например, использованием молодого животного в свадебной церемонии или чем-то подобным).

Если говорить о количественной стороне предлагаемых в словаре сближений, достаточно указать на то, что Б. К. Гигинейшили [11, с. 20] принимает 86 общедагестанских этимологий Н. С. Трубецкого и 64 сопоставления Е. А. Бокарева, добавляя к ним 110 собственных сближений. В коллективном труде дагестанских языковедов [37] количество лексем, возвращимых к общедагестанскому уровню (к сожалению, со значительной потерей в их надежности), достигает 400. В «Словаре» насчитывается около 2000 сближений, причем авторы особо оговаривают сомнительные случаи.

Имея в виду перспективы междисциплинарных исследований, можно порадоваться за кавказоведов — историков, археологов и этнографов, получивших вместе со словарем огромный новый и часто, как в случае (42), требующий нетривиальной интерпретации материал.

Думаем, что из сказанного выше читатель может сделать самостоятельные выводы о научном значении «Словаря», нам нет нужды применять здесь характеристики и эпитеты в превосходной степени. В истории сравнительно-историче-